

Галина МУХИНА

Родилась в 1939 году. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета, аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского до 2017 года.

Автор трёх книг и полусотни статей по истории и культуре. Живет в Омске.

«НЕ БУДЕТ ДАЖЕ И ВРЕМЕНИ ТАКОГО “ПОСЛЕ ВОЙНЫ”»

150 лет со дня рождения Михаила Пришвина

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – свидетель двух мировых войн. Он прожил их, будучи писателем и летописцем, автором Дневников полувековой длительности. Ему выпала возможность их сравнить. Он рос с ними как творческая личность, постигал их смысл, их роль в истории русского народа и России, с которой был настолько слит, что в 1944 году признавался: «чувствовал всю Россию в себе – и так что если я цел, то и Россия цела».

В дневниках от 27 июля 1914 года появилась запись о признаках войны: «лесные пожары, великая сушь, забастовки, аэропланы, девиц перестали выдавать замуж», радость «освобождения от будней», равнодушие к природе. Но появилось чувство единения, а из этого источника – «какая-то радость и бодрость» на улицах. Испугались от внезапной, с многочисленными помехами мобилизации, но «одумались и пошли» – «в один голос» (не как в Японскую войну).

Пришвин чувствует, как меняется мир, как раздвигается он до космических масштабов. Людей охватило какое-то «повальное безумие»; они становятся «государственными людьми, т. е. существами безличными», которые примкнули «к общему ходу бездумных светил». Появилась «какая-то ненавистная» Германия; «лично близкая, “родная по крови”» Сербия; помогающая «Англичанка», «дружественная» Франция. Вокруг «нечеловеческого светила», «с кружкой пива и сигарой в зубах» – кружится и поёт хоровод: «Немцы, немцы больше всех!»

Петербург превращается в военный лагерь: по Невскому «едут, едут», солдаты «сосредоточены в себе», они идут к открытым воротам города – как «бесконечная цепь штыков навстречу солнцу». Стало

«много свободней»: исчезли хулиганы, нищие – все стали на одно лицо, «друг на друга похожи». Облик государя: бледное лицо, живые, прекрасные глаза, речь со сдерживаемыми рыданиями – воспринимался как «начало воплощения героя-царя».

Осенью 1914 году как военный корреспондент Пришвин побывал во Львове, взятом русскими войсками. И написал о царящей там русофобии. Гимназист, говоривший на чистом русском языке, которому его учил дедушка, рассказал, что запрещалось иметь даже карту России, а перед войной пришлось сжечь книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. Из рассказов гимназиста, старорусского священника, галичанина профессора сложилось «представление времен инквизиции»: не было «физической жестокости в той чудовищно утонченной степени, как в те времена, но зато унижение человеческого достоинства в националистских тисках» – в высокой мере.

Перед второй поездкой на войну в Галицию (в феврале–марте 1915 года) он решил: главное – поддерживать «неизбежно утомляющийся тяжелым настоящим и неизвестным будущим народный дух». Ему важно было постигать войну объективно: «не отдельным человеком, а всеми». И выводил «закон человечества» – «мука за муку больше»: то есть все страдания раненых и умирающих на войне не так страшны, как бессознательная мука за эту муку; «наша мука, искупающая то страдание, по таинственному закону души человека страшнее той естественной муки». А поскольку по страданиям не было ещё в истории такой войны, как эта, значит, и «душевная мука за нее» должна быть «небывалой». Хотя большинство людей ждёт радости, надеясь на «озон войны».

Для личности война так же и «момент творчества жизни». Примеры: литератор из утончённых декадентов всё бросил и бежал на войну. К. С. Петров-Водкин уверял, что «никогда ему так хорошо не работалось», ибо жил «верой в будущую лучшую жизнь». А сам Пришвин? Столкновение Германии и России – это «роман» его жизни: он «получил все от Германии». В 1900–1902 годах учился на агрономическом отделении философского факультета Лейпцигского университета. Получил естественное образование, профессию агронома – и не только. Отныне немецкая культурная традиция – философская (Кант, Ницше) и музыкальная (Р. Вагнер) – стала частью его мировоззрения, его души.

Но вот он – перед лицом врага, который посягает «на нашу душу, на личность». Однако трудно русскому держаться «на злобе и недоверии». К немцам у него самого нет злобы, нет жалости, а удивление, как они могут – «будто без понимания, без хитрости, просто могут умирать». Ожесточенность только в атаке. Тут и вопрос: «Любовь к врагу – что это значит? любовь к тому, что у врага есть хорошего, признание, что он, будучи хорошим, творит не зная что? убеждение, что нет существа, вмещающего только зло?» Принимает врага бытового, а не абсолютно. Война даёт христианским заповедям содержание, и они становятся «живыми» (Смертию смерть поправ).

Понятие немца-врага расширилось и, расширяясь, дошло до понятия внутреннего немца. Смысл его раскрывается Пришвиным через столкновение: «В этой войне меряются между собой две силы: сила сознательности человека и сила бессознательного. Мы русские – сила бессознательная... Когда нам улыбается счастье, мы готовы верить в свое бессознательное, когда неудача, мы взываем к порядку». То есть потребность в порядке, законе – это и есть внутренний немец. Но не только.

«Внутренний немец. Сначала он был на фронте, потом в людях с немецкими фамилиями, потом в купцах, и, наконец, говорят: – Ты думал, внутренний немец на стороне, а он с тобой за одним столом сидит, одною ложкою ест». В начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа – внутренний немец. И первый из них, царь, был свергнут, потом старые правители, а теперь свергают всех собственников земли. Свергают капиталистов – внутренних немцев, буржуазных интеллигентов. После всеобщего разрушения собственности разрушители поймут, что внутренний немец находится в каждом из нас. Как в Библии: тощие коровы пожрали тучных и остались такими же тощими. Летом 1917 года обновляет социальный портрет внутреннего немца. Это не только царь, помещик, капиталист, но и сосед, у которого не одна, а две лошади, а кроме надельной, десятина собственной земли и две десятины арендованной. В 1918 году делаются добавления – кто виноват? Обвинение переходит на большевика, на еврея – «кончится война: я виноват». И тогда приходит отчаяние, догадка о символическом смысле изречения: «Звезды почернеют и будут падать с небес». Звезды – это «любимые светлые души людей» – «все мои звезды попадали! Господи, неужели Ты оставил меня, и, если так, стоит ли дальше жить и не будет ли простительным покончить с собой и погибнуть так вместе с общей погибелью?»

Выходит, война имеет свою диалектику: во всей её неправде скрывается и «подлинная правда, источник, обновляющий мир». Да, она ведёт к мировой катастрофе, но идея правительства общественного доверия (от Прогрессивного блока буржуазных партий в Думе в августе 1915 года) питала надежды: «в скорое время сделается всенародной идеей: мужики это поймут, как приближение народа к царю». Одно сомнение – «успеют ли это сделать до всеобщей разрухи».

Ведь столкнулись лбами немецкая «система» и «беспомощная русская первобытная удаль». «В глубине души по своему природному воспитанию» Пришвин признавал только русских солдат да, пожалуй, немецких. Сказывались народные взгляды на солдатчину «как на отречение». Солдат – это «необходимая вечность», как «из чугуна вылепленная фигура». Муштровкой скованный немец «в рассыпном строю не может проявить своей личной инициативы, как русский солдат». И немец, «учивший нас с колыбели порядку, закону» – погибает целыми колоннами, не желая участвовать в «хаотическом рассыпанном строю».

А каков наш герой? Георгиевский кавалер – это «обычный тип лучшего русского солдата, воспитавший наше сознание». Вот идут сорок таких героев, и всех капитан называет одним именем – Митюхи. Герой у нас – не личность, а «момент стихийного действия»: «Не они достигли Георгия, а Георгий к ним сам пришел». Но появились городские типы героев, для них подвиг становится самоцелью: не даром, а достижением.

«Чувство войны – стихийное чувство». При мобилизации солдат идет и «смирятся до исчезновения отдельности» и начинает «светиться в общем деле». Большинство их сопротивляется этому. О войне сложилось представление, как «о деле жизни и смерти, поглощающем целиком человека». С горечью писал о готовности идти на жертвы: «Смысл этой жизни... без ропота отдавать людей (гладиаторство)». Из этого и рождается ответ врагам: «нас еще очень много, очень! И мы готовы терпеть все до конца!» Но видя, как целует женщина уходящего

на войну, он чувствует себя виноватым. И прощание кажется ему, охотнику, похожим на судороги умирающей птицы. Женщина тоскует и плачет, а муж идёт на войну и весел: «умирать не страшно, жить тяжело». Его растрогал рассказ офицера, как тот мучился, слыша пальбу неприятеля, окружившего погибающий соседний корпус. Он записал: «Меня поразило... его чисто личное отношение... казалось мне, он пережил потерю любимого, близкого человека и у него на глазах были слезы...»

Следовало найти «психологическую причину войны», чтобы в мировом котле обнаружить «какое-то вечное, но утерянное людьми начало». Потому что война становится «делом привычным». Вначале казалось, что «победа наша над врагом будет в то же время победой над самим собой, что мы организуемся». Но и через 15 месяцев войны Россия всё «мечтает и утопает в грязи». Жглю «опасение как бы нас не разбили», если разобьют – неминуема «ужасающая» революция. К концу 1915 года, когда немцы взяли Ковны, написал: «Ну и взяли, и возьмут Ригу, Петербург, все равно целы будем – велика Россия!» И тут же сетует: после войны освободится много, много зла.

Пришвин, читая прессу, обнаруживает разрыв между личными судьбами людей и государственной легендой. На одной стороне – чудовищная легенда, «будто бы люди идут на жертву добровольно», а на другой – будто бы заинтересованность общества в личной судьбе солдата. С одной стороны легенда о жертвах, с другой – мольбы близких об одном: чтоб не убили. Потом подарки, цветы, конфеты, сигареты, общественные панихиды, некрологи, а в завершение всего «вдохновляющая цель – расширение государства, выход к морю». Надо «поднять завесу», вскрыть лицемерие официальной версии. Тем более что под шумок миллионы корыстных торговцев, поставщиков, подрядчиков, полицейских, губернаторов, финансовых тузов – «строят каменное основание своей личной судьбе» как «основу будущей власти их над будущими “жертвами” войны» (запись 11 марта 1917 года). На фронте враг – стоит лицом, в тылу – задом: «отдыхает и кушает, спит и наживается». В тылу, «как черви», заводятся всякие подрядчики, «живущие от войны к войне, надеждой на новую войну» ради наживы. Так автор обнажает один из жесточайших, античеловеческих смыслов войны – её классовый, империалистический характер.

Война настолько захватила Пришвина, что захотелось написать «Книгу войны», этому способствовала его газетная работа, его мировоззрение, творческая потребность: понять явление и поделиться патриотическими чувствами – внести свой вклад в победу. Замысел не осуществился, но подготовительная работа шла. Накапливались факты, возникали вопросы. Его интересовало всё: происхождение войны, её смыслы, настроение общества и личности, государственная политика, состояние армии, будущее России и мира. Когда война только началась, он не отрицал в ней нашу вину: зачем мы увлеклись все этим немецким, а теперь стало понятно, что она началась как «война духовного с чем-то нечеловеческим, немецким» – за человеческое. Поэтому желал «вести свою летопись не по чужому знанию, а от себя: как мне жилось в это время». Автор искал свой выбор. «Война – это тюрьма народа». Из неё убегают или ищут «выход к свободе духа», он «спасался посредством писания». В 1921 году признавался: «Радость, бодрость и все свои силы я получаю от моментов сосредоточенности в себе в тишине, когда рождается какая-нибудь мысль, которую можно записать». Война разрывала с прошлым. Появилось понимание величия событий,

через которые должно совершиться сближение государственного долга и общественных интересов. Менялся взгляд на народ: мужик – это не народ, но он идёт к косцам, до которых не доходят газеты, чтобы уравновесить труд и знание. Новое приобретение России: в тылу – как на позициях, где исчезают «все перегородки образования, положения», и все отношения упрощаются до двух классов: «начальников и “тошно так”».

С самого начала войны он связывал её с революцией, даже отождествлял с ней: «Не будь войны, не было бы и революции...» (запись 5 марта 1917 года). На Февраль 1917 года у него вырабатывается свой взгляд. Отношение к Временному правительству очень критическое, не враждебное, но недоверчивое – к этой маленькой кучке «полуобразованных людей сектантского строя психики, овладевшей властью над всей огромной страной» (запись 11 марта 1917 года). В обществе – растерянность и непонимание: с падением царизма «исчезло почти все, из-за чего мы воюем». Досадовал: потеряли историческое чутьё, забыли, что «только в самое последнее время» монархия наша стала «отвратительной и ненавистной» – потому что «предала нас врагу». Приходил «смутный страх», что революционеры свергнут статую «царя-революционера» Петра Великого, олицетворяющего Петроград.

На исходе войны бросился читать, как и многие тогда, «Историю Французской революции», историю Смутного времени – «пробудилось великое стремление знать свою родину» и её историю. Образование стало «совершенно необходимо» «для творчества жизни», «как пахарю плуг». С февраля 1917 года Россия кардинально менялась: таинственная страна, «с народом-сфинксом» – после кораблекрушения причаливала к новой земле. И слово «хлеб!» звучало так же, как «война!» Настало новое смутное время, и тысячи самозванцев увлекают народ неизвестно куда. Пришвин клеймит Горького, социалистов за намерение обратить страну «в стадо прозелитов иностранной фабрично-заводской пролетарской идеи». Им овладевает чувство потерянности: Родины нет, «она уже кончилась». Хотя и твердит: «не погибнет». Революция Февраля кажется ему абсурдной: она «самая буржуазная в мире», не революция собственников, а желающих быть собственниками, которые забили настоящих собственников. Все бегут, как во время войны. Диктатура неизбежна и «самая жестокая», её ждут. «Почти сладострастно ожидает матушка Русь, когда, наконец, начнут ее сечь». «Революция села на мель безденежья и уперлась в одно-единственное чувство злобы к имущим классам».

Он «не рад этой революции», которая лишила его пристанища и покушалась на его писательское дарование. Пришло разорение: «Мужики отняли у меня все, и землю полевою, и пастбище, и даже сад». В своём доме он, как в тюрьме; окна заставлены досками от выстрелов. Дня три очень горевал: «богатое, весеннее» солнце было для меня «будто черное». В октябре 1918 года его лишили и дома: пришла «выдворительная».

На Октябрьское восстание он взглянул сначала (8 ноября 1917 года) как на «стихийное движение в первом авангарде разбегающейся армии, требующей мира и хлеба, чем и была предрешена победа большевиков». Это случилось в обстановке нового геополитического положения России. Когда она, по его мнению, находилась «во власти сил мировой истории человечества» и когда у европейцев был «ключ ко всему». Когда просвещенная часть русского общества стояла за Англию и ожидала

от неё переустройства на базе европейских ценностей. Когда простой народ воевал за царя, а образованные – за его свержение. Падение монархии сделало ненужным воевать за англичан. Тогда большевизм он оценивал как «общее дитя» народа и революционной интеллигенции, а их интернационализм – «ничто иное, как доведенная до крайности религия человечества».

В Дневниках поддержал требование Советов: мир без аннексий и контрибуций. Это «призыв сильный, более сильный, чем “Война!”» То же самое с детства слышали в церкви: «О мире всего мира Господу помолимся!» Только сожалел: это выражено языком, «мало понятным для простого народа» (аннексий и контрибуций).

Большевизм воспринял как «явление германо-славянское», а когда поляки пошли на Киев и замаячило появление самостийной «Украины», он стал казаться великорусским. Предпочитая идеи «эволюционной демократии» Англии и Франции, социализму выносил приговор, ибо считал: его задача – «отнять у общества жизнь, овластить эту жизнь и сделать государство без общества». Даже победы наш коммунизм «весь свет» – «все равно не мог бы стать коммунистом». Из-за отвращения к убийствам, лжи, грабежам, демагогии. И хотя он допускал, что эта власть необходима и способна сдвинуть Русь с мёртвой точки, но принять её не мог, как и «мрачное учение» Маркса.

С начала 1918 года революция представлялась уже как зависание над бездной: законом стала случайность (случайно оказаться в тюрьме, под пулями, замерзнуть в поезде). Наше время, считал он, поражено болезнью логического безумия. В итоге: «Деспотизм и дитя его большевизм – вот формула всей России». Судьбу мировой войны теперь уже не нам решать, ибо «мы теперь провинциалы от интернационала».

В сознании автора происходило крушение представлений о государстве, Отечестве, как оно сложилось по историческим книгам и являлось узлом «личного благородства» и готовности жертвовать своей жизнью. Пришвин обращался к известной формуле «Левиафана» Томаса Гоббса: «войне всех против всех», в которой вставал вопрос о собственности и решимости умереть за неё. По его мнению, эта революция «рождается в злобе», и её скелет представляется в образах: «Смердякова – большевика-разрушителя и Платона Каратаева – созидателя, нынче набивающего керенками бутылку». Революция нанесла удар в «самое сердце собственности», ударила по крестьянину, принимая его за врага, поскольку его труд – «весь в сбережениях» в отличие от труда фабричного рабочего. Одним словом: «Распяты ныне и барин, и мужик на одном кресте, барин – за идеи, мужик – за разбой» (запись 29 декабря 1919 года). Социализм – лишь говорит: нельзя так жить, «а как жить, может научить только религия», – записывает он в 1921 году. А в 1922 году – уже очень определённо: «Не пройди я путь максималистского большевизма ранее, я стал бы в Октябрьскую революцию непременно большевиком, но я в то время уже окончательно устроился в себе и не мог примкнуть психологически к Октябрьской революции и хотел для России революции просто буржуазной». Он не только привязан к собственности, но и считает её основой государства: «Мало того, чтобы любить свою землю и сеять на ней хлеб, нужно еще уметь защищать свой посев – это чувство страха за свое и потребность оберегать его и создаст государство; любить и сеять мы могли, а оберегать – нет!»

Война меняла общество, ожесточала людей: научила «этот кроткий» народ «шагать через людей», «через трупы людей», как шагает теперь

«через родных и святых». Людей стравливают, науськивают: «вот враг, вот враг!» Раньше жили «за царем», его волей. «И вдруг каждый стал царь и Бог». Все русские люди, которых он встречал, когда ехал из Петербурга до Ельца в течение 18 дней, – «от фанатика, одержимого большевика гвардейского экипажа балтийского флота, до последнего мешочника на крыше телячьего вагона – имели вид уязвленных, в отчаянии потерянных людей».

Спрашивая себя, можно ли назвать нашу революцию великим событием, если она бросила «живую человеческую душу на истязание темной силы», Пришвин ищет историческую аналогию в деяниях Петра. «Великий истязатель России» «вел тем же путем страдания к выходам в моря», и «раны живой души русского человека» не зажили до сих пор. Вот и теперь что? «Разворовано общее добро, унижена женщина, затоплен грязью и брошен правительством прекраснейший город, созданный на крови русского народа, – в этом метаморфоза?» – вопрошает он. Писателя угнетает духовное состояние общества – небывалое «обнищание духа» параллельно с экономикой, и в качестве одной из причин его называет «разрыв с общемировой культурой».

Об этом пишет так: «...я не политик по природе, я живу и думаю в области неделимого простого, человеческого». И хотел как русский писатель иметь право сказать так же твердо и просто народу, как говорит Анатоль Франс, описывая времена Великой французской революции. «Боги жаждут» – его роман из той эпохи, «а наши хвосты и очереди все с точностью описаны, и в тюрьмах сидят невинные, художники и мудрецы, как мы с вами». Люди у него – хорошие, не только герои, но и толпа. Французы громили дворцы, но сочли бы для себя смертельным грехом что-нибудь взять для себя. Читал это с завистью: что так мог сказать французский писатель про свой народ.

Где найти опору? Ему, писателю, ясно – спасительницей будет русская литература: «И так земля вся разорена, мы еще можем теперь прислониться к вождям нашей культуры, искать защиты у них, ну, Толстой, Достоевский? ну, Пушкин? вставайте же, великие покойники». Для него очевиден революционный характер русской литературы: «Смелость анализа до конца, наивность страсти и веры перевернуть словами весь мир».

Пришвин много читает и многое черпает из литературы для объяснения и своих поступков, и других людей, и эпохальных событий. Когда собирался уехать за границу или в Питер, его каждый раз останавливало чувство, похожее «на лень, которую Гончаров порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало». Для Пришвина Обломов – его герой, чей «покой таит в себе запрос на высшую ценность», ибо не может выдержать его критики никакая «“положительная” деятельность в России», из-за которой «стоило бы лишиться покоя». И он – не антипод «мертвенно-деятельных людей», как Ольга и Штольц. Противовес для Обломова – не Штольц, а максималист, с которым можно «дружить, спорить и как бы сливаться временами». Пришвин был сформирован литературой и почитал её заслуги, прежде всего как носителя совести. Убеждал: «сейчас больше дает чтение старого, чем наблюдение настоящего, которое стало однообразным». Успенский для него – «провидец русского несчастья». А если вдуматься в Достоевского, то «ничего не остается неожиданного в современности». Он обращается к его легенде о Великом Инквизиторе, чтобы приговорить социализм: «Можно соприкоснуться с вечностью,

но невозможно быть в вечности, а социализм хочет быть в вечности... По Великому Инквизитору: эта невозможность заменяется обманом и обман тайной. А социализм – бунт земной вдвойне, и против Христа, и против церкви».

В Дневниках звучит как рефрен одна тема: Евгений из «Медного Всадника». Тема отношения власти к личности и человека к власти. В 1921 году он ратует за сносную жизнь для бедных людей, ибо «Октябрь для всех нес новую муку, насильную Голгофу». И для него неприемлем принцип: «Кто не работает, тот не ест». Считает его «наиболее бессовестным, потому что в основу труда ставят не совесть, а страх остаться голодным». Мерило для него – христианские ценности. Он порицает неверие в Бога, разруху семьи как «состояние души современного человека и направление его жизни». Если большевики, воздействуя на среду, влияют на личность, то христианское учение «действует на среду через личность». Поэтому, утверждает Пришвин: «То, что мы считали в социализме за хорошее, было у нас от церкви». Он не мыслит разрыва с традицией: «Культура – это мировая кладовая прошлого всех народов... которое входит в будущее и не забывается... – это дело связи народов и каждого народа в отдельности с самим собою. Величайшим деятелем связи был Христос». Осуждая насилие государства над обществом, автор отмечает: на прежних скрижалях было написано «слово Бог, теперь Человек», то есть идея социализма – переформатирование народа. В этом процессе Пришвин обнаруживает новаторство самих масс: «в душе русского человека сейчас совершается творчество мира, и человек называет другого не официальным словом “товарищ”, а “брат”». У него самого возникает чувство солидарности и признательности к советской власти – на патриотической почве (запись 20 мая 1920 года): «...иду с ними (коммунистами), потому что они все-таки свои и ближе мне, чем англичане и французы, устраивающие теперь “буфер” и “рынок” из Польши».

Как Пришвин ощущает настоящее? Революция его отвращает, однако он сознаёт, что это «величайшее историческое» время, – так он пишет в 1919 году, а в 1921-м утверждает, что наше время есть «высшее напряжение смуты», а периодический голод и смута – это неизбежные и необходимые компоненты русской истории. Для него и национальный пейзаж является средством постижения русской ментальности: «В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском – его подъемы к общему делу – и как бывало на покосах, и в первое время войны, и в первые дни революции».

Утрата имения, угодий, дома не даёт покоя. 8 октября 1918 года записал: «Старый дом, на который смотрим мы теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери». Минуло 18 дней как он с узелком покинул Хрущево, а будто «год прошёл». 20 октября 1919 года: «ужасная сейчас жизнь, но я и так ее люблю: люблю свой утренний чай до свету, когда все спят и я брожу мыслью по миру, люблю своего мальчика Леву и тех людей, которые меня так счастливо окружают везде». В 1921 году пишет о жути: спит один в доме – «в углу дубинка, под кроватью топор».

Перед грандиозностью событий писатель определил свои жизненные приоритеты: «Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным». А другие? Большинство цепляется за деньги, вторые – за власть, третьи жаждут отдать себя власти. Его выбор: «Жить в себе и радоваться

жизни, вынося все лишения... для этого нужно скинуть с себя лишнее, перестрадать и наконец освободиться». И пожелать другим того же.

Как человек европейской культуры, потомок её защитников Пришвин видел в миссии России спасение Европы от азиатских нашествий в Средние века, теперь же она приняла на себя «страшный удар» социализма. И он отрекается от участия возможного похода на Европу, которая «будет разрушена до основания, если власть очутится в руках «беднейшего из крестьян»». Его привлекает устроенная жизнь в Германии, в которой он «ни разу за два года жизни там не видел признаков социального бешенства». И сожалеет, что немцы «временно отлучены от нас», а они «органически наши, без них у нас пустое место». Для него и русская, и германская революция – это «не революции, это падение, поражение, несчастье». Они основаны на насилии, а не «на силе убеждения». И есть надежда, что когда-нибудь придет и революция как «творчество новой общественно-государственной жизни». Хотя считает: революция – это «выражение нетерпения», и предпочтительнее постепенность эволюции. Относительно войны резюмирует: «общий враг» – капитализм никуда не делся, он неизбежно порождает «мировые войны», они «всегда были и будут, их уничтожить невозможно».

* * *

В преддверии Второй мировой войны он чувствовал неумолимо надвигающуюся катастрофу. Но не осмеливался выступить в качестве эксперта: «К числу таких вопросов, которые я рассудочно не имею права решать, всегда был для меня вопрос нации и войны: я не могу сказать со всеми, что я – русский, хотя я русский больше всех...» Точно так же не мог в свое время определить себя «пораженцем» или «оборонцем». Словом, судит по наитию, по интуиции. Он убеждён: история движется «молча» и надо современность держать «в себе всю целиком». В 1936 году пишет: на наших глазах исчезла Абиссиния потому, что «была мала и стояла на пути Италии». Исчезает Испания; вероятно исчезновение демократической Франции. Фашисты намерены уничтожить демократию и затем непременно столкнутся между собой, или всё затянется надолго, пока не иссушатся народные соки. Нас тоже «истощает индустрия, отсутствие радости в деле, радости жизни, уверенности в завтрашнем дне», ложь во всем, двурушничество, чудовищное самоистребление. Предполагает варианты для нас: стать «примером, как социализм сделал великий народ жертвой войны или как социализм переродился в милитаризм». Или капитализм «пожрет социализм, быть может, и не вступая с ним в прямую войну». В начале 1938 году в связи с японской агрессией в Китае думал: ввяжемся или отсидимся? Неужели 20 лет такой «ужасно тревожной, пещерной жизни» даром прошли для нас, или это только «подготовка для европейской колонизации». О своём самочувствии и состоянии общества писал: «Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходит. И чем больше уходит, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, да, жить несмотря ни на что! Так вот бывает пир во время чумы». Разложение партии и общества, «зыбкость нашего государственного бытия», «полное одиночество Сталина», и люди всё больше отдаляются друг от друга. Вопрос о войне встаёт для него со всей очевидностью. Мы готовимся. А люди живут, «как будто войны вовсе не будет».

Заключение советско-германского пакта 1939 году одобряет и порицает недоверие к нему. Ссылается на историю отношений России и Германии: «с 1914 года по 1939 совершил наш народ трудный путь из-за политической ошибки царя: четверть века неописуемых терзаний всего народа за эту ошибку царя воевать против Германии! И вот почему я предсказываю: союз с Германией вопреки всякой идеологии сделается очень прочным, длительным и переделает весь мир». Готов считать пакт договором о дружбе, а Гитлера героем борьбы народа за освобождение. Хотя знал: народ ему не доверяет и опасается «ярма». Предполагает варианты: Гитлер делает ставку на блицкриг, и, если война превратится в позиционную, он погибнет. Тогда вероятно СССР будет воевать за социалистическую Германию. Или Гитлер станет диктатором Европы. Пришвин вскоре отказывается от первоначальной переоценки пакта. Нелегко ему было расстаться с идеей сотрудничества с Германией, освободиться от своего «помешательства» на Вагнере (43 раза слушал «Тангейзера»), прежде чем стало ясно, какую «опасную игру» затеял Гитлер: сначала победить английский капитализм (хотя победить его до конца ему самому невыгодно, возможно и примирение), а потом русский коммунизм.

1940 год он переживает как время мировой катастрофы, гибели цивилизации, словно род человеческий охватила «страшная эпидемия». Он готов примкнуть «к делу Сталина, значит – к делу воссоздания России» в её прежних границах. 26 сентября 1940 года отмечает: «Вчера... совершилось для меня большое событие, я переменяю свою политическую ориентацию. Раньше я думал, что мы постепенно эволюционируем под германский фашизм, они же примирятся с фактом коммунизма. Теперь я подумываю, что Германия, может быть, в процессе своего поражения сама станет коммунистической и вместе с нами станет против Англо-Америки». Это возможно, если между Англией и Германией не будет заключен «мир за счет нас». В конце этого года его тревожат настроения в Москве, что немца «нам не миновать»: если ему помогать, он «превратит нас в колонию», а будем против – расколотит и своё возьмёт. Понимает одно: «Война 14-го года осталась морально неоправданной, значит – неконченной, теперь – продолжение...» Назревающую войну писатель в 1941 году воспринимает как войну «крови за кровь и слова за слово»: «мир может быть только в единстве слова и крови, слово наполнится кровью, и кровь будет оправдана словом».

Противостояние сил Пришвин сравнивает с магнитом: на одном полюсе – всё реакционное с Гитлером, на другом – коммунизм. Что же касается стран демократии, она – лишь «помесь и компромисс». Три лица теперь: Германия, Россия и Америка. Англия подлежит поглощению Германией или Америкой. Пакт Германии с Японией – значит война Европы и Азии с Америкой. Недоумевают насчёт США: знают, что после поражения в Европе будет революция и СССР станет «господином положения», но поощряют Англию продолжать войну (запись 1 июня 1941 года). Фактически расклад такой: воевать – значит начинать революцию в Европе, не воевать – превращаться в колонию.

И вот утро 22 июня. Сразу «пришло ясное сознание войны как суда народа: дано было почти четверть века готовиться к войне, и вот сейчас окажется, как мы готовились». Считал, что за войну кто-то должен ответить и быть наказан. Так понимал революцию 1917 года и понимает войну 1941 года как продолжение той. Делает признание: «В защите

этой идеи возмездия состоит все значение Сталина, и в выступлении против неё за легкомыслие» гибли его враги.

Весть о войне «всех оглушила». В Дневниках запись о патриотизме. Корень его – в самом насущном: «хочется, чтобы не тронули мой домик и квартиру мою в Москве не заняли, где я работаю, где хранятся письма моих читателей, рукописи». В социалистическом отечестве сила патриотизма должна выйти «не из стихии, а из организованности людей». С такой силой идут фашисты, с ней предстоит сражаться. Большевики вывели Россию из «кустарно-лично-семейного состояния в большое хозяйство». Это было необходимо для защиты коммунизма. И четверть века мы жили «в состоянии мобилизации для войны». Представлял, как немцы презирают нас «за бедность, беспорядок и грязь». «И хочется им “утереть нос”». Речь Сталина вызвала «большой подъем патриотизма», но у Пришвина возникли сомнения в его подлинности, поскольку в советское время происходила «утрата общественной искренности» и «полный разлад личного и общественного сознания». Однако 5 июля появилась запись: «Случилось такое, чего никак было нельзя ожидать: весь народ поднялся... Плачьте, женщины! Лейте слезы, как можете: ни одна слеза ваша не пропадет даром...»

Ведёт счёт по дням и записывает: рухнули расчёты Гитлера на 14-й день взять Москву. Не вышло сыграть и на ненависти к большевикам. Уже в самом начале этой «величайшей войны человечества (двух столь близких народов, немцев и русских, разделенных фанатической фашистской теорией)» Пришвин уверовал: «Мы должны победить». Почему? Народу хочется жить, у него современное оружие и небывалая организация в истории. Но ему известны разные настроения в обществе. Пораженцы уповают на победу немцев и смену ими правительства, не верят большевикам и ругают за беспорядок. Энтузиасты думают: немцев разобьют и в Европе начнут бороться за плановое мировое хозяйство и исключение войн (запись 28 июля).

Жизнь поворачивалась и влияла на выбор чтения: Пушкину, Тургеневу, Льву Толстому Пришвин предпочитал тогда Гоголя, Лермонтова, Достоевского, то есть особенно страдающих и не гармоничных классиков. Читая повесть «Село Степанчиково и его обитатели» Достоевского, Пришвин видит, как и в «Бесах», пророческое изображение России – психологию «идейного деспотизма на почве личного самолюбия Фомы Опискина». По его примеру явился «железный стержень коммуниста». Приходится задуматься о происхождении деспотизма из самолюбия и признать, что книги Достоевского «живут и действуют почти как сами люди» (запись 19 сентября).

Его удручает недостоверность информации: «езде только слухи и ложь». Особенно разрушительными для тыла являются сообщения по радио о героических подвигах: «Слушать радио никто не хочет». Как же спасать нравственность? Не отрицая достижений большевиков: всеобщую грамотность, индустриализацию, формальный парламентаризм, ратует и надеется на возврат к православию, потому что «в православии у нас все». «Наступает страшное время, надо собираться на борьбу за самую грубую жизнь и самую тонкую, за смысл ее, надо быть мудрым, как змий».

И с обеих сторон: у немцев и у нас – царит убеждение в незаменимости вождей. В словах же Рузвельта: обеспечить во всем мире права людей на свободу вероисповедания – Пришвину слышится намерение на полное уничтожение большевиков и призыв к будущей войне

с СССР после поражения немцев. «Прочитал газетку (Англо-американская комиссия)» и ощутил вероятность длительной войны «при поддержке Америки» и «мерзкой необходимости неволи», потому что ей «очень выгодно помещать свои капиталы в нашу войну». Отсюда – две перспективы: в такой «великой войне» Нового Света со Старым и со вступлением Америки и Японии – для России уготована второстепенная роль в долгом конфликте, или на разделе России все помирятся. Можно подивиться такой проницательности.

В 1942 году войну он сравнивает с болезнью, «охватившей все человечество». Определяет характер мировой войны через интересы сторон. Для Англии-Америки главная задача – «обоюдное уничтожение большевиков и фашистов». Если «сломится фашизм» – в Европе будет «революция и торжество большевиков». Победа фашистов приведёт к долгой изнурительной войне «с демократией», победит демократия – война будет ещё продолжительней. С успехами японцев наш фронт перестанет быть решающим. Он не считал, что для победы достаточно моторов, как думают англо-американцы, – здесь требуется «национальная воля, как у немцев и японцев», «национальный героизм, дерзновение, риск». А в речи Рузвельта правдив только призыв к наращиванию вооружений, соответствующего мощи американского капитала, хотя и в антураже слов о борьбе с германским варварством и защите демократии. Его анализ исходит из двух аксиом: «большевики позиций своих не сдадут»; «капитал своих позиций не сдаст». Значит, компромисс здесь невозможен, и борьба будет непримиримой, беспощадной.

В нашем сопротивлении он рассматривает две составляющие силы, поскольку оно рождается «не из одной только механизации власти, а также из естественной жажды жизни народа способного, недрахлого и выносливого». Всё разделилось на: «у них» (это партия, власть) и «у нас» (это «народ, вернее, чернь»). «У них все есть» – в отличие от «нас». Только теперь ему открылось, что же такое народ. Это не какой-то видимый народ, а «сокровенный» – «в нас самих подземный, закрытый тяжелыми пластами земли огонь», это не только мужики, русские люди, а «общий всему человеку на земле огонь», что продолжает «начатое без него творчество мира». – «Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться».

Важнейшим фактором в сопротивлении нашего народа считает состояние его духа. Поэтому поднимает вопрос жизни и смерти, как две основы: радость жизни и страх смерти. Время требует проповеди радости жизни, но носителем её должна быть творческая личность, «рождаемая Христом в человеке и продолжающая свое развитие в Духе». Именно в христианстве ему видится путь освобождения человека от страха (смерти), путь личной свободы.

Писателя волнует состояние общества, его отношение к врагу. Запись в марте 1942 года: когда докторша говорит о возможности победы Гитлера, пессимизм происходит от угнетенности набором: берут туберкулезников, калек, белобилетников. «На всю деревню голосит бабушка Аграфена: – Ой, жизнь моя Ванюшка! Ванюшку убили. Ой, жизнь моя Николаюшка! Николаюшку чахоточного сегодня угнали. Ой, катитесь слезы по лицу моему. – Слушаю я этот вопль и даже в мои годы подмывает злоба на немца, и тянет она включиться в массу, идущую на врага».

«Немцы» были «последним обманом», когда чаяли, что большевизм «через три дня кончится, потом через месяц, потом НЭП их съест, по-

том... без конца, и наконец, пришел конец» – и вот опять нет конца. Не верят англичанам, не верят большевикам. В основе недоверия – убеждение о несоединимости коммунизма и капитализма: «легче Англии соединиться с Германией, чем с нами», а «победить Германию значит отдать Европу коммунистам». Сам же убеждён: без второго фронта с врагом не справиться, а союзники водят за нос. Совершается Суд истории. Идёт борьба идей: «Америка – благополучие личности, Германия – благополучие народа (нации), Россия – благополучие всех».

Ясно, что в такой большой войне одной дипломатии и оружия недостаточно, нужна «живая сила народа». Англичане же – это торгаши: «выродились, ослабели, не могут постоять за правду». У американцев «нет народности, источника завоевательной силы». А завоевание мира – это большая война.

О своей жизни Пришвин тоже высказался: испуг, привитый, как всякому старому интеллигенту в советское время, он преодолел «искренним отвращением ко всякой политике», выработал манеру: «или уж очень прост, или невинен, или счастливец... в положении свободного художника, с которого спросу нет». Время требует от писателя «прославления вражды, возбуждения ненависти к врагам». А в это время Пришвину пришла большая любовь. До встречи с Валерией Дмитриевной (в январе 1940 года) в глубине души ему не верилось «в объективное добро, и любовь, как движущая сила жизни, была непонятна». Есть запись (25 мая): «У нас так хорошо, мы живем в лесу, – птицы поют весь день. И мы довольны друг другом с Лялей, счастливы». Через три года написал: «...мы из нашей борьбы вышли как нераздельные люди и неслиянные». «Любящий под влиянием другого как бы находит себя, и оба эти найденные новые существа соединяются в единого человека: происходит как бы восстановление разделенного Адама».

Писатель впервые осознал, «как велик труд» его, «как трудно быть свободным: нет ничего на свете труднее свободы и вот почему люди – рабы». У него сложилась целая философия жизни: война разделила человека на две разных жизни. Человек на войне – как «жизнь в принуждении», и в мире – «по собственной воле». «Война и мир как человек вовне и человек внутри себя». И это не статичное состояние. Пришвин берёт пример: как перерождается пораженец. В прошлом году ждал немцев, теперь уверовал в русского солдата. Потом у него появится родина, затем полководцы, вожди и главный вождь. Это не ново – за исключением одного: теперь видишь сам, о чём долбили с детства, но на что тогда не было собственного отклика. У него складывается такое мнение: «нельзя полагаться на то, что происходит сегодня, и приходится подождать завтра, и это завтра есть не будущая жизнь на том свете, а жизнь, недожитая здесь, на земле». Писатель берёт материал не на фронте, где кровь, а в тылу, где слёзы. И его больше интересует личность, а не массы. Не гонится за героями, потому что в его понимании герой – «не совсем личность: это особь». Мотивировка такая: сколько видел таких, кто хочет дезертировать, а «попал на войну – и там стал героем», ибо выбор один: «или в кусты, или к ордену» и «стадное чувство движения к победе» «манит присоединиться ко всем». «И кажется – не за что воевать: дома нет ничего своего, за что бы постоять. А между тем там человек преобразается и становится героем». Что его поднимает? – В нынешнюю войну совершается «нечто небывалое»: каждая сторона борется за господство над миром и уже показывается победитель «как единый хозяин мира». Может, дело и не в народе,

и не в правительстве, а в «воле сверхнародной, сверхправительственной». Ведь нередко человек несогласный с общим мнением поддерживает его на людях, так и геройствующий на войне. И самого себя укоряет: отстаю в понимании современности, поскольку пытаюсь мерить мировую войну «национальными мерками».

Долгая война истомила. Запись 29 января 1943 года: «Наши растущие победы» перестают поднимать в людях настроение, потому что «так много у нас отнято земли, что можно побеждать без конца». – «Ждем конца войны, как голодный ждет хлеба».

Мучительным для Пришвина был вопрос об отношении к Европе, связанный с пониманием собственной идентичности: «Мы же, дети русские, вырастали в гимназиях с немецким режимом и с учебниками и с французской свободой на словах в обществе». Оба эти начала – «личной свободы и государственной необходимости» у многих поселяли веру в «западного настоящего человека». «Эта уверенность... продремала во мне до сих пор... Этот западный человек под Сталинградом разбился... А настоящий западный человек в своем восточном синтезе – это будем мы? Или кто?»

Свое писательство Пришвин воспринимал как спасение, как мирный выход, который заканчивал его «душевную смуту». Война «смущает» его, путает мысль. Он не может теперь «ничего написать по всей правде»: «сказать о себе “я пораженец” – нет, я не пораженец, сказать – патриот, нет – не патриот». А просто «смущенный, мучимый, терзаемый состоянием войны человек». Откликаясь на настроения людей, он понял назначение писателя во время войны – «творить будущий мир», быть «на страже времени», ибо «без чувства своей современности невозможно оставаться писателем; писатель – это стрелочник времени...» (31 августа 1942 года).

В сентябре 1942-го в отношении мировых событий у него – «полная апатия». «Какие-никакие большевики», но ими держится «этот пережиток сознания, именуемый “Россия”». Четверть века «невероятных мук уходят в ничто», в «историческую пустоту». Ему страшно, что он «не только не пережил, или отжил, а еще как следует и не начинал жить». Наше поражение от наступления немцев на Ростов породило ощущение: «только чудо может нас спасти». В Москве есть семьи, умирающие от голода. Наступление голода страшно разделением людей «на более сильных и слабых», которое поддерживается «политикой и особой советской моралью» (столовые, распределители). Понял, что не «злобу дня», а «целый мир независимых ценностей» надо открывать людям.

25 октября 1942 запишет: «...ведь это не Россия кончилась, а сама Европа, идеал нашего русского общества, вся “заграница” погибала со всеми своими мадоннами и соборами, и наукой, и парламентами». Пришло осознание: «я – Россия» поднимается на новую высоту: «самое богатство личности, сокровище души человека и ее основной капитал – это признание своей личной ответственности за наше зло».

Вдруг мелькнуло, что «они» – наши «начальники» – «не только плуты, а и государственные люди», и тогда почувствовал, «что бремя злобы на большевиков с меня свалилось», а немцы как освободители кончились, и даже обмолвился о вероятности «поступить в партию» (запись 13 ноября 1942 года). Выход из пещеры «советского погребения» он связывал с войной, которую стал понимать как борьбу за экономическую гегемонию в мире и освобождение личности человека как «духовного существа». Англия, США, Германия, Россия – столкнулись на

этих путях. Германия воюет за господство над всем миром. Русские – против господства отдельных наций. Всё будет решать победа, но придет время, будут судить и победителей. Сам же он рассчитывал, что «из революции, возглавленной ныне Сталиным, открывается прямой путь к свободной церкви». Воспринимая себя как «русского», а сущность «этой хорошей русскости» – в православии, откуда «всякими кривыми и прямыми и несознаваемыми путями» прошло в его душу «то русское, хорошее», и видя, как меняется религиозная политика в СССР, он принял советскую власть душою. Но главное, чувствовал ответственность за страну: как её спасти? И ответ такой: носитель «истинного начала – христианин, его задача теперь – сделать «грядущую войну священной войной». Коммунисты во власти стоят перед той же задачей: ввести в её механизм христианскую мораль, но без Христа. Когда он объяснял жене желание вступить в партию, то этот путь для него имел только один смысл – идти «из партии к церкви». По его мнению, подъём духа народа не может состояться без веры. Он утверждает: «одна из основных черт верующего православного – это бесстрашие в отношении извне действующих на человека враждебных сил и радость внутри. Не хватает православному воинственного отношения к враждебным силам (пассивное отношение, компромисс)». Но война подвинет к этому русских людей. Потому что забота обо всех – дело государства и общества. А забота о каждом – дело религии. Пришвину хотелось бы верить словам Рузвельта о защите личности, «независимой от нации, положения, класса», о защите «религии, питающей личность». В то время как Сталин, уступая давлению Рузвельта, «лишь допускает религию, втайне являясь её непримиримым врагом».

К США у Пришвина отношение сложное. Рузвельт – светлая личность. Но у нас не доверяют Америке – она «хочет нас извести так же, как и немцев» (июль 1942 года). Его пронзительные слова о внутреннем смысле в русско-американских отношениях звучат сейчас как очень нужные для нас сегодняшних (а записано 14 сентября 1943 года): «Каким-то хозяевам, собственникам в Америке выгодно, чтобы нас, русских, расстреливали больше и дольше... пусть даже и погибнут все славянские народы на счастье американцев, как погибли индейские племена». Известно, что в Декларации независимости 1776 года отцы-основатели США счастье обещали только цивилизованным американцам, аборигенов объявляли дикарями, обрекая на уничтожение, тем самым обосновывая экспансию и захват их земель.

С открытием второго фронта в Европе появилась новая мысль: после войны весь мир окажется под влиянием США и СССР. США выступают на мировой сцене как «охранитель частного интереса», СССР – общественного. Усилится влияние социализма: «Нравится или не нравится – все равно социализм сделался исторической темой, над которой работают все государства, все народы, и, само собой конечно, и Бог». Коммунизм станет «общепризнанной экономической системой».

Пришвин бьёт наотмашь по их ленд-лизу: «тут уж Америка не купит нас консервами... Поддай же, друг мой, похлеще ногой вот эту пустую консервную американскую банку, пусть летит она ко всем чертям и гремит: это косточки гремят тех, кто жизнью своей заплатил за эти банки». Словно из летописи вырываются его гордые записи из 1945 года: «наши за это время шагают и шагают по Манчжурии. И так удивительно, на всей земле только два полноценных противника, Америка и мы. Подумай-ка, мы!» – «мы голодные, голые. Что у нас? Только терпенье...

У нас еще большое преимущество: свобода от собственности и ее традиций,.. сословных и классовых привязанностей». У них же – собственность, традиции стесняют движение.

А Европа теперь? Не та. Ещё в 1943 году Пришвину представилось, что для неё «русский ком», с коммунизмом внутри, подобен «древнему азиатскому кому кочевников». И после «последнего унижения Европы» чувствует, что там действительно уже «нет прежнего высшего примера для нас окаянных». Пришло время вернуться к идее самобытности России, признать широкую натуру русского человека, в котором «как в природе есть все, что только нам вздумается». В этом – наша сила, которой вот «теперь берут города».

Война с фашистской Германией не затмила в нём глубокого чувства к её людям, не отменяла привязанности к исторической взаимности: «Вот теперь эти два народа, самые близкие и по территории (соседи) и в истории, режут друг друга на истребление. А далекие и чуждые... дожидаются, когда... можно будет взять их голыми руками». Это враг, но «любить врага, значит бороться с его бесом». В войне с немцами: «мы боремся с бесом Гитлера (любя немецкий народ)... Но русский народ, побеждая Гитлера, сделал большевиков своим орудием в борьбе, и так большевики стали народом». Когда шли бои за Днепр, Пришвин (18 октября 1943 года) заговорил о необходимости для нас немца-учителя, не в буквальном смысле, а в качестве образца деловитости, чтобы после войны «наладить порядок жизни» и превратить «наш анархический социализм» в организованную систему. «Пусть лучше через нашего Сталина немец придет, чем через Гитлера». А в 1946 году он выразил свою «заветную мысль о немцах»: «что они и русские — единственные идеалисты на свете, что география даже обеспечивает единство этих народов, и если эти народы соединятся, они добьются хозяйственного единства во всем мире».

Писатель извлекает уроки этой войны, определяет факторы успеха: «народ побеждает, а не партия». Красная Армия росла, «как ком снега», её воины мужали в бою, мальчишки становились героями, складывался «отчаянный человек, кому своя жизнь – пустяк» (последнее замечание очень легковесно). Таков «главный тип бойца Красной Армии» – это «и есть тот самый чудотворец, сотворивший победу» (запись 10 сентября 1943 года). В тылу «никто больше не сделал для победы, как эти колхозы» (хотя каждый «хотел своего: уйти из колхоза, но не мог и делал то, что надо, и вот из этого Надо родилась победа»). За время войны выросла роль женщины и на место героизма вышла её выносливость. Он объявил её символом победы, открыл смысл «Чуда» нашего отпора немцам (в котором «фокус истории»): немцев-героев победила наша «самая обыкновенная баба», и весь её секрет – «в стихийном терпении». Она «не пьянствует, не распутничает, ждет, рожает, и у неё дети, и тут открывается родина». Она в колхозе выполняет «нечеловечески тягостную работу». Важно: работать и слушаться (и на производстве и в армии). Сказалась и мечта о лучшей жизни: «Откуда взялась эта сила России... в борьбе с немцами? Первое, конечно, сила эта родилась из мужика, жил на черном хлебе, а, конечно, мяса хотелось... вот откуда вся революция и война: движение от хлеба к мясу». Даже больше: эта «народная сила» выходит из «вечной тренировки голодом, то есть смертью», и простой русский человек «приучил себя к близости смерти». Отсюда – бесстрашие, удаля, перед которой слабеет немецкое чувство долга. Если в США открыли атомную энергию, то у нас произош-

ло открытие «общественной душевной энергии», благодаря которой и произошло это «чудо» – наша победа в войне.

Через все Дневники проходит сквозная мысль о праве личности на существование – в этом «смысл жизни» и общества. Примером был для него Ганди, с его идеей и практикой национального непротивления. Он думал: «где наш Ганди, почему у нас нет своего Ганди?» И отвечал: «он был, но его расстреляли, и он есть – его тоже завтра расстреляют, и их много, много легло в жертву победы над немцами».

В нашей тоталитарной системе в 1946 году он подметил демократическую черту. Если у немца «личность человека сливается с государством», то русский остаётся личностью, ибо у нас нет «культуры бараньего начала»... Наше народно-личное начало, это Хочется, подчиняется общественному Надо». 22 июня 1945 года эту мысль подтвердил рассуждением о Сталине: для нас он – «не человек, а какая-то центральная сила нашего времени», он «совершенно скрыл лицо свое человеческое в делах общества», «все собой завершил» и «воздвиг на пьедестал безликое имя в мраморной шинели». Словом, путь Ленина – Сталина есть сплошь «путь жертвы личной для общего дела».

Творчество Пришвина в годы войны готовило людей к миру через ощущение земной радости. В 1945 году его сказка-быль «Кладовая солнца» получила первую премию за лучшую детскую книгу. Дневники отразили его концепцию сказки: «Каждый человек живет сказкой», а в ней – «сила внутриатомной энергии». Она – «выход из трагедии», ибо её счастливый конец есть «утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшей ценности». Потому родина для него – это «родина нашего языка, нашего слова и с этим словом всего лучшего». Его книги соответствуют природе русского человека с его наивным жизнеощущением: «добро перемогает зло».

В 1945 году Пришвин подвёл черту под двумя мировыми войнами социальными категориями: понимая большевизм как «силу возмездия за нарушенную правду жизни» в Первой мировой и выход социализма в мир из Второй. Словом, «всякая война идет за правду и социализм есть форма войны». Определилось противостояние двух: «Америка хочет создать капиталистический интернационал, а мы – социалистический», в итоге «национальному суверенитету подписан смертный приговор». Он счёл возможным «прекращение войны навсегда», понимая, что война есть «прежде всего расчет», ведомый «необходимо безнравственной (т. е. безличной) силой общественной, силой улья, подобной стихийным силам». Но у Пришвина нет уверенности в установлении спокойного мира после войны: «Германия всем оставит большое наследство». Фашистским ядом отравятся и победители, и не будет «не только рая, но и отдыха», и «не будет даже и времени такого “после войны”, и так все пойдет до конца столетия». Как в воду глядел!

Если Первая мировая война и революция утвердила его на позициях патриотизма и внутреннего несогласия с властью, то Вторая – укрепила его любовь к социалистической Родине. Но что осталось для него несокрушимым – это признание самоценности и самодостаточности личности. И он сам был таким человеком.